**Владимир Солоухин. Под одной крышей**

Некоторое время волею судеб мы жили в деревне Светихе, занимая половину пятистенного дома. Половины были отгорожены друг от дружки наглухо: мы выходили из дому на свою сторону, соседи - на свою. Но все же была общая стена. В сенях сквозь нее проникали к нам запахи картошки, поджариваемой на постном масле, жареного лука, жареной трески, запах самой керосинки.
   Достигали и звуки. Отчетливо было слышно, как соседствующая хозяйка Нюшка рубит уткам крапиву, как храпит в сенях ее отец, дядя Павел, как тявкает вздорная собачонка с нелепой для деревни кличкой Рубикон, как ежедневно ругаются между собой отец с дочерью.
   Они жили вдвоем, потому что остальные многочисленные дети дяди Павла все разъехались по сторонам. Одна только Нюшка приросла к деревенскому дому. Она овдовела в первые дни войны и с тех пор живет без мужика, что, вероятно, тоже наложило свою печать на ее и без того нелегкий характер.
   У дяди Павла пенсия - двадцать семь рублей. Нюшка на ферме зарабатывает гораздо больше. Вероятно, главные раздоры между отцом и дочерью начались с этого материального неравенства. Нюшка отделила дядю Павла от своего стола и поставила дело так, чтобы он питался отдельно. Оно бы ничего. Восьмидесятилетнему старику нужно немного. Двадцати семи пенсионных рублей - по деревенской жизни - как раз бы хватило. Но у Нюшки, кроме зарплаты, было еще одно преимущество: она была женщиной, стряпухой, хозяйкой. Ей сподручней топить печку, варить похлебку, жарить картошку на постном масле. Нельзя было вдвоем соваться в одну и ту же печь. Да и характер обидевшегося дяди Павла не позволял никаких совместных действий. Таким образом, старик обычно сидел на сухомятке.
   Половину дня Нюшка проводила на ферме. В это время дядя Павел иногда зажигал керосинку, чтобы разогреть хотя бы рыбные консервы - кильку в томате. В старости, когда остывает кровь, говорят, особенно хочется горяченького. Но чаще дядя Павел стоял перед домом, нахохлившись, в своей стеганке, глядя вдоль села слезящимися глазами, и, отщипывая из кармана, жевал хлебушек, гоняя его по рту беззубыми деснами. Иногда старик баловал себя печеньем, тоже обламывая его в кармане. Это не от жадности, не для того, чтобы не показывать людям, но зачем же стоять посреди улицы с кульком печенья или с куском хлеба в руках.
   За стеной в такие часы было тихо. Но как только Нюшка приходила с фермы, начинали зарождаться звуки и шумы. Вот хозяйка ласково поговорила с Рубиконом. Пожалуй, это было единственное существо в ее доме, с которым она говорила ласково, не считая разве уточки-хромоножки. С Рубиконом Нюшка говорила так:
   - Ну, что, соскучился, дурачок! Скушно, чай, сидеть целый день на цепи? Сейчас я тебя отвяжу. Ах ты, собачья голова, понял, обрадовался. Ступай, побегай.
   Затем начиналось кормление уток:
   - Ах ты миленькая, ах ты хроменькая моя, на вот тебе отдельно... А ты куда лезешь, лопай со всеми вместе! - Это на какую-нибудь утку, решившую полакомиться из блюда хромоножки.
   Поросенок, почуяв еду, начинал визжать пронзительно и надсадно.
   - Холера, успеешь, замолчи, вот я тебе сейчас покричу, я тебе сейчас покричу!
   Если бы еще какая-нибудь скотина была у Нюшки, то, вероятно, отборные словечки нарастали бы и дальше. Но никакой скотины больше не было. Оставался дядя Павел.
   Я думаю, что самая отборная брань приходилась на дядю Павла вовсе не потому, что дочь относилась к отцу хуже, чем к Рубикону или к поросенку. Но ведь дядя Павел, в отличие от бессловесных тварей, мог отвечать, и брань его бывала обычно не менее остроумной и изощренной.
   После каждой очередной схватки старик шел на нашу половину. Он здоровался у порога, снимал шапку и садился на стул, унося его от стола на середину комнаты. Мы уговаривали старика сесть с нами и выпить чашку чаю, но чем больше мы его уговаривали, тем дальше и дальше он отодвигал свой стул.
   Сначала разговор шел о том о сем: что вот опять нет дождя или, напротив, что вот опять с утра дождь, - потом дядя Павел решительно переходил на главную тему:
   - Сволочь. И откуда такие зарождаются? Ведь что она надо мной вытворяет! Чистого кипятку не дает. Да ляд с ним, кипятком, хоть бы не кричала, не срамила последними словами. Помню, я со старшей дочерью жил. Рай, а не жизнь. Бывало, с работы идет, а я сижу в избе у окна. Так она еще с улицы в окно поглядит, смеется: "Ну как, петушок, сидишь, лиса тебя не утащила?" Пошутит эдак-то, и сразу у нас человеческая жизнь. А эта... И голос у дяди Павла меняется. - Каблуком бы ее раздавить...
   Мы со смущением слушали откровенные излияния отца по поводу дочери, большую часть которых я не могу здесь привести по чисто цензурным соображениям.
   - Вот погодите, - предрекал дядя Павел, - она вам здесь житья не даст, покарай меня бог.
   Это предположение нам казалось странным и неправдоподобным. Как это может быть, чтобы к нам стали относиться плохо, если мы сами ко всем относимся хорошо или, во всяком случае, никому не мешаем? Но мрачные предсказания дяди Павла неожиданно начали сбываться.

   У жителей этой деревни существует привычка - помои выливать на дорогу. Если раздуматься, нарочно не изобретешь такой отвратительной привычки, потому что если в выливаемых помоях есть какая-нибудь зараза, то нет вернее способа распространить ее на всю округу, как вылить на дорогу. Проедет телега либо машина - и повезут заразу, прилипшую к колесу, по всему белому свету. Но тем не менее эта дурная привычка в Светихе существует. Каждая хозяйка выносит помои на дорогу против своих окон и выливает их в колею.
   Против пятистенка, в котором нам привелось тогда жить, не было никакой дороги, он располагался в стороне от главной улицы. Против дома ровная зеленая лужайка. По ней приятно ступать босиком, приятно полежать на ней в тени развесистой старой липы. Посреди полянки, шагах в семи от окон, канавка не канавка, ложбинка не ложбинка. Когда-нибудь прокопали канавку, но теперь она сгладилась и заросла все той же шелковой травкой. От этой ложбинки большая польза: во время летнего ливня или затяжных невеселых дождей вода не собирается перед окнами в лужи, не застаивается, но мчится вдоль по ложбинке в отдельный пруд.
   И вот мы видим из окна, что Нюшка выносит большой таз помоев и выливает его на лужайку, как раз против окон. Во-первых, теперь не полежишь на траве под липой; во-вторых, начнут разводиться мухи, которые будут залетать в окна и садиться на хлеб и сахар; в-третьих, помои во время дождя стекут в пруд, в котором жители полощут белье, моют ноги после трудового дня, а ребятишки иногда купаются.
   Моя жена, окончившая медицинский институт по санитарно-гигиеническому профилю, не могла вынести этого зрелища - помойки посреди деревенской улицы, да еще под самыми окнами. Нюшке же чем-то понравилась лужайка, и она каждый день стала носить помои и выливать их на одно и то же место. Зловонная черная язва образовалась на нашей чистой зеленой лужайке. Две вороны постоянно торчали там, выклевывали из грязи остатки чего-то перегнившего, но еще, по-видимому, съедобного для ворон.
   Во время очередного прихода к нам дяди Павла мы попросили его, чтобы он уговорил дочь, хотя бы и от нашего имени, перенести помойку куда-нибудь на задворки.
   - И боже сохрани! Не буду и заикаться. И вам не советую. Да можно ли ей сказать что-нибудь поперек! Вы ее еще не знаете.
   Мы никак не могли поверить в это и пошли делегацией на другую половину дома.
   Нюшка возилась у печки.
   - Здравствуйте, - бросила нам Нюшка довольно резко в ответ на наше совершенно робкое: "Здравствуйте".
   Мы присели на скамейку около порога и стали ждать появления хозяйки из-за кухонной перегородки. Хозяйка вышла. Впервые я разглядел ее как следут. Это была женщина лет сорока пяти, низкорослая, круглолицая, со следами некоторой миловидности, но с каким-то угрюмым, недружелюбным выражением. В лице ее, в общем-то, все было заурядным: жидкие блеклые волосы того цвета, когда не скажешь, что шатенка, но не скажешь, что и русая, маленькие глазки, про которые не скажешь, что они серые, но не назовешь их и голубыми, невыразительный маленький рот, - одним словом, все рядовое и будничное. При всем том, когда она улыбнулась, выйдя из-за перегородки, на щеках у нее возникло по ямочке, и я представил себе, что лет двадцать пять или двадцать семь назад она могла казаться вполне миловидной.
   Улыбка подбодрила нас, и мы приступили к делу. Мы говорили о вреде мух, о свирепости летних болезней, о чувстве и значении прекрасного. Это была обстоятельная лекция о сангигиене и по охране природы одновременно. Нюшка слушала молча, пока мы не дошли до ее конкретной помойки. Наконец я собрался с духом и проговорил:
   - Так что просим тебя, Анна Павловна, помойку перенести куда-нибудь на зады, в удобное место.
   Скорее всего я ожидал согласия. В крайнем случае могли последовать какие-нибудь деловые возражения - мало ли что у нее в голове. Произошло самое неожиданное. Анна Павловна послала нас довольно-таки далеко, но все же с указанием самого точного, недвусмысленного адреса. Бросив свою энергичную, из четырех слов состоящую фразу, она ушла за перегородку, а мы как ошпаренные выскочили из избы.
   На другой день в деревенском магазинчике, как мне в подробности рассказали, произошла следующая сцена. Вошла наша соседка и в присутствии семерых человек - восьмая продавщица - громким голосом ни с того ни с сего заговорила:
   - Понаедут всякие, а мы - хлебай. Ишь что придумали! Хотят половину дома совсем купить, а потом меня с моей половины выжить да и мою половину к рукам прибрать. Конечно, они городские, все ходы-выходы знают. А что же мне, бедной вдове, по миру идти? Где мне угла искать? Отец еще сколько лет проживет? Неужели нельзя найти управу? Да я завтра же в сельсовет пойду или в милицию. Пускай их первых выселяют. Я тоже не лыком шита. Советская власть не дозволит.
   Мы были потрясены фантазией Нюшки. Никогда, даже во сне, не собирались мы делать ничего подобного, даже мысль не мелькала, а она в пять минут набросала готовую программу наших действий. Я сначала только посмеялся. Но тут же представил, как Нюшка заходит в сельсовет, в милицию, еще куда-нибудь и всюду возводит на нас напраслину. Стало не по себе. На другой день у колодца, в окружении трех собеседниц, Нюшка фантазировала еще вдохновеннее:

   - Пауков ко мне напускают.
   - Неуж?
   - У нас в сенях, между досками, щели, я и гляжу - с их половины ко мне паук ползет, за ним второй. Они, значит, их у себя там ловят и ко мне в щелочку пускают. А может, пауки-то ядовитые...
   Я представил нас с женой в роли диверсантов, выпускающих пауков на чужую территорию, и мне сделалось и смешно и грустно одновременно.
   Между тем события развивались. Чтобы хоть как-нибудь нейтрализовать действие помойки под окнами, жена посыпала гнилую черную язву дустом: все-таки дезинфекция. Не каждая муха сядет, не каждая улетит. Нюшка, оказывается, наблюдала из окна за санитарно-гигиеническими действиями вражеского стана. Не знаю, на какую фантазию подтолкнуло бы ее увиденное, но совпало так, что у Нюшки в этот день околел петух. Не думаю, чтобы от дуста. Тогда почему же не околели все остальные куры? Но в воображении Нюшки факт преломился по-своему, она решила, что ей не только объявлена война, но что война ведется недозволенными химическими средствами. Нужно было ждать ответных действий.
   В тихий предвечерний час, когда я только что углубился в интересную для меня книгу, в комнату с рыданием вбежала моя жена. Она бросилась на кровать плашмя и тряслась всем телом. Я побежал на кухню за валерьянкой. Долго она не могла объяснить мне, что случилось, и наконец выпалила:
   - Иди и немедленно застрели Рубикона.
   Правда, у меня есть ружье, и пристрелить собачонку не так уж трудно, но нужно было сначала разобраться в деле. Оказывается, Нюшка только что, пять минут назад, пришибла палкой нашего Афанасия - прекрасного пушистого котенка.
   Перед поездкой в деревню мы зашли на птичий рынок, чтобы побродить там между рядами аквариумов, населенных сказочными тропическими рыбками, сверкающими и переливающимися, как драгоценные камни и еще красивее драгоценных камней. Сам я уже несколько лет не держу аквариума: мешают постоянные отлучки из Москвы, - но полюбоваться чужими - для меня по-прежнему праздник.
   Набродившись по рынку, у рыночных выходных ворот мы увидели девочку лет девяти с очаровательным существом на руках. Она прижимала не к груди, а к горлу крохотного, но уже пушистого и смышленого котеночка. Покупать зверька мы не собирались, но интересно было узнать, почем котята на московском базаре.
   - Я не продаю, - обрадовалась нашему вопросу девочка. - Я вас прошу, возьмите его так.
   - Почему ты хочешь избавиться от котеночка?
   - Я подслушала разговор. Бабушка хочет подкинуть его в какой-нибудь подъезд, а мне жалко: вдруг его никто не возьмет и он будет голодать и мяукать? Я хочу отдать его в руки, чтобы видеть, кому отдашь. Я вас очень прошу, возьмите, он хороший, очень хороший. Пожалуйста...
   Кто-то, видно, надоумил девочку отправиться с котенком именно на птичий рынок. Удивительно, как это никто не взял у нее котенка до нас. Взглянув на его уморительную мордочку, невозможно было уже от него отказаться. Девочка взяла с нас слово, что мы будем кормить котенка ежедневно, не будем его бить и будем иногда играть с ним бумажным бантиком, привязанным к нитке.
   И вот этого-то котенка, милого нашего Афанасия, палкой убила злая женщина Нюшка.
   Жена рыдала и требовала, чтобы я немедленно застрелил Рубикона. Я и сам почувствовал невыносимую злость. Значит, дело будет выглядеть так: я в ответ на ее злодеяние убиваю Рубикона, она затаптывает в грязь наши простыни, вывешенные сушиться в саду, я беглым огнем истребляю всех ее кур и уток, возможно, поросенка, а она ошпаривает кипятком наших детей... Моя фантазия остановилась на этом месте, но кто знает границы Нюшкиной изобретательности! Конечно, она не сможет совершить главного шага подпалить дом, потому что сама живет под той же крышей...
   Вероятно, так и началась история на земле. Обида отплачивается обидой. Всегда хотя бы с маленьким перехлестом. Крупица зла породила горошину зла. Горошина породила орех, орех породил яблоко, яблоко породило арбуз... И вот в конце концов накопился океан зла, в котором может потонуть все человечество. Дело подошло вплотную к поджогу, а еще точнее к сожжению дома. Хорошо еще, что, как и в нашем микроскопическом случае с соседкой Нюшкой, все живут под одной крышей, и поджечь соседа означает поджечь себя.
   Сопоставления самые дерзкие сколько угодно могли тесниться в моем мозгу, но явь состояла в том, что наш Афанасий был убит палкой, что моя жена плакала и что нужно было идти и застрелить Рубикона.
   - Ну что же ты сидишь?! - говорила моя жена. - Сегодня она убила котенка, завтра перешибет ноги твоей дочери, а ты все будешь сидеть. Надо набраться мужества и застрелить.
   Так как я сидел и пока молчал, жена продолжала:
   - И вообще, застрелишь ты Рубикона или нет, давай уедем сегодня же. Я не могу жить с ней под одной крышей. Не могу ни минуты, понимаешь?
   Уехать по целому ряду причин мы не могли, поэтому я продолжал молчать.
   - Что же ты молчишь? Ты же мужчина, глава семьи. Ты должен искать выход из каждого безвыходного положения. Если ты не можешь отомстить за Афанасия и если мы не можем уехать, научи, как жить дальше, что мне делать, как себя вести, говори!

   - Видишь ли, ты меня призываешь к мужеству. Но дело в том, что застрелить собачонку... Можно сказать, что мужества в строгом смысле слова для этого не потребуется. Но у тебя есть возможность, если ты хочешь, совершить поступок истинно мужественный. Иди и соверши.
   - Задушить ее своими руками?
   - Нет. Возьми пачку дрожжей, которую я привез из Москвы, и отнеси ей. Скажи, что это подарок от нас двоих.
   Жена посмотрела на меня испуганно, как на сошедшего с ума. В первую долю секунды взгляд ее показался мне бессмысленным, как у человека, которого ударили по голове. Еще бы, ведь это была та доля секунды, когда разогнавшиеся мысли ее, психика ее, злость ее, жажда возмездия - все это должно было остановиться, как при железном тормозе, а затем начать движение в обратную сторону.
   - Ты... Серьезно?
   - Очень. Если только ты серьезно спросила меня, как жить дальше, что делать и как себя вести. Я подумал и считаю единственно правильным в создавшемся положении отнести ей пачку дрожжей. Посмотрим, что из этого выйдет.
   - Нет уж, тогда лучше застрели меня вместо Рубикона. Пойти на такое унижение... перед этим сгустком злости.
   - Сейчас мы и сами сгусток злости. Кроме того, я не вижу другого выхода. Если идти и дальше по пути, на который мы встали, получится следующее: я застрелю Рубикона, она затопчет в грязь наши простыни, я перестреляю ее уток, она перешибет ногу нашей дочери... В конце концов останется одно - подпалить дом. Кто раньше успеет. Но в нашем случае это бессмысленно, потому что мы живем в одном доме, под одной крышей. Уехать мы не можем. Ее прогнать нельзя. Так что я в самом деле не вижу никакого выхода. Но выход есть, и я его предлагаю. Возьми дрожжи и отнеси ей как подарок от нас двоих.
   - Да я лучше повешусь на чердаке!
   - Возьми дрожжи и отнеси.
   - Ни в жизнь.
   - Возьми и отнеси.
   Мы завернули дрожжи в газету, чтобы не всякому видно было на улице, что в руках. Жена вытерла слезы, вздохнула и пошла.
   Я понимал, что она совершает сейчас героический, в некотором смысле даже великий поступок. Потому что подняться на ступеньку труднее, чем спуститься, вылезти из болота на сухое место труднее, чем с сухого места шагнуть в болото, а самое трудное во все времена и для каждого человека переступить через самого себя.
   Я не знал, что происходит за стеной. Может быть, Нюшка швырнула дрожжи ей в лицо. Может быть, она еще и плюнула ей вдогонку... Я приготовился просить у жены прощения за столь интересный, но и столь тяжелый эксперимент, как вдруг жена вошла в избу.
   Она была возбуждена, будто только что получила известие самое радостное в своей жизни. Глаза ее сияли, а голос, когда она заговорила, прерывался от радостного волнения. У меня самого запершило в горле, и я понял, что мы только что прикоснулись к чему-то очень сокровенному и важному, может быть, самому сокровенному и самому важному в человеческом поведении.
   Потом, уже успокоившись, жена рассказала мне, как было дело. Когда она вошла в дом, Нюшка потянулась за ухватом, думая, что последует какая-нибудь месть за котенка. Она могла ожидать чего угодно, только не мирного прихода представителя враждебного лагеря. Но жена развернула и положила на стол пачку дрожжей. У жены хватило мужества и находчивости спокойно и тихо сказать, что сегодня воскресенье и вот мы решили... потому что у нас есть еще, а эти все равно пропадут, потому что жарко и хранить дрожжи долго нельзя.
   Нюшка будто бы заплакала и бросилась обнимать. Тогда и жена заплакала, и они обе плакали на плече друг у дружки. Что-то одновременно говорили. Но что именно, передать в подробности жена не могла, потому что она сама больше говорила, чем слушала.
   Не успели мы успокоиться от такого события, вернее, от такого поворота событий, как Нюшка появилась на нашем пороге. В руках она держала большое решето, полное отборного репчатого лука.
   Значит, мелькнуло у меня, пружина пошла раскручиваться в другую сторону, и тоже, как ни странно, по нарастающей: мы ей - пачку дрожжей, она нам - решето лука; мы ей в другой раз - дорогой торт, она нам ощипанную утку; мы ей - отрез на платье, она нам - целого поросенка; мы ей - кровельное железо, она предложит разобрать перегородки в доме... Фантазия моя и тут убежала слишком далеко.
   Мне не хотелось бы рассказывать, сколько еще потом было у нас до осени неприятностей с нашей соседкой и какие слова говорил про нее дядя Павел, приходивший к нам отвести душу. Все это потом было и, вероятно, было бы снова, если бы мы решили еще раз навестить ту деревню.
   Но все же я никогда не забуду сияющих глаз моей жены, возвратившейся от Нюшки, и саму Нюшку, робко стоящую на нашем пороге с большим решетом отборного репчатого лука.
   1966